«Велика была слава и велико одиночество»

Из дневников Александра Афиногенова

ные рецензии, творческие советы. Для Афиногенова смерть Горького была тяжелой утратой, он неоднократно посещал дачу в Горках, где тяжело болел Алексей Максимович, участвовал в перевозке тела Горького в Колонный зал Дома съездов.

В записях Афиногенова говорится о Третьем международном шахматном турнире, проходившем в Москве в Колонном зале с 14 мая по 8 июня. Афиногенов упоминает близких Горькому лиц: О. Д. Чертову — домашнюю медсестру (Липа), художника И. Н. Ракицкого (Соловей), М. И. Будберг (Мура) — бывшего секретаря и близкого друга, прилетевшую из Лондона, сноху Н. А. Пешкову (Тимоша). Афиногенов неточно написал фамилию И. П. Ладьяникова («Лажечников»), давнего друга Горького, крупного издательского работника. Упоминает он известного патофизиолога А. Д. Сперанского, наркома здравоохранения Г. Н. Каминского, жену писателя Всеволода Иванова Т. В. Иванову (Тамара) и К. В. Паукера — начальника оперативного отдела НКВД.

Отрывки дневника 1936 года, предлагаемые читателю, публикуются впервые, за исключением записи от 10 июня.

9/VI

неожиданностью. Очевидно, сразу мелькнула мысль — пришли прощаться. И тут старик приподнялся, сел на постели и начал говорить. Он говорил 15 минут о своей будущей работе, о своих творческих планах, потом опять лег и заснул и сразу стал лучше дышать, пульс стал хорошего наполнения, утром ему полегало. Сперанский схватился за голову от виденного чуда. Так, вероятно, Христос сказал Лазарю: «Встань и ходи». Сперанский объясняет это шоком в ту часть коры головного мозга, которая ведаёт дыханием и сердцем, и шок этот оказался благотворным.

18/VI

Сначала дождливое ветреное утро, потом солнце, потом опять ветер и дождь, но сейчас лето, и все это согревается июньским теплом, и хочется сидеть у окна, смотреть на колокольню за лесом, на белую палатку лагеря, оттуда по вечерам слышны татарские мелодии, поют заключенные.

Рабочие колотят забор, носят бревна, идут со станции люди, протапывают новую тропинку — прежняя загорожена забором, тропинка бежит вниз, к избушке с красной крышей... Люди ходят, говорят, поют, смеются... Потом внизу появляется вестник — Горький умер, надо что-то писать, ехать, делать.

В Москву по грязным колеям местного шоссе — там толпятся писатели, делающие хмурые лица. Пильняк, слегка выпивши: «Меня от обеда оторвали — к чему? Поеду обедать дальше».

Потом обратно в Горки — зеленый забор, стоят молчаливые молодые люди, допрос — кто такие... Куда-то ушли звонить... Ворота открываются, за воротами остаются репортеры, спрятавшиеся в кустах.

Человек с кинохроникой бежит на нас, снимает, изворачивается, забегает, трещит пленка в аппарате.

И самый дом — молчание. Вот-вот услышишь чей-то плач, истерику, нет — все очень спокойно. Самые нервные мы, приехавшие сюда.

А в доме идет подготовка тела — техника смерти убивает слезы, слишком много забот, чтобы плакать.

Липа улыбается, рассказывает о последних минутах, все передают подробности, какие кто знает. Наверх не пускают, там орудут хирурги, иногда проходит деловито, ассистент. Официант в белом кителе накрывает стол. Стол накрыт на много персон — люди будут ужинать, даже вино здесь. И слезы, готовые вырваться, высыхают, не успевают показаться на глаза.

Прислуга — шоферы у гаража — шутит, смеется, передает историн, им просто любопытно, большой съезд, и кто-то еще придет.

Сперанский вошел, заговорил громко, для него смерть — профессия, привычка, начал говорить, смеется, разводит руками: «Легкие — труха, а сердце прекрасное. И мозг прекрасный, вот подите же...» Тамаре: «Ну, как ваше дите? Я своего забиралю через два-три дня...» Поговорил, посмеялся, пошутил, вышел.

Вошел другой, поспешно поздоровался, курит, я спать поеду — пора.

Это люди особые, они, как судьи, привыкли видеть преступников, как командиры, видящие тысячи солдат, смерть — их профессия, делали все, чтобы отдалить ее, не вышло, увы — не во всем властны, а впрочем, мы давно говорили, что не выйдет ничего, нам не верили, все надеялись, а на что?

Этого они не говорят, это подразумевается в их репликах, потом они вообще устали и хотят спать, они за последние сутки дали ему 256 подушек кислорода — по конвейеру.

На аэроплане из Любека привезли аппарат для вдыхания кислорода — оказалось, это для оказания первой помощи утопшим. Не то. Он дышал прямо из подушки.

Вошел маленький вертлявый анатом в черном пиджачке, коротком, и белых брюках, галстук бабочкой, очки, птичья лысая голова, жуёт передней челюстью, с ним загорелая его ассистентка и любовница, верно, он гладит ее плотоядно, они зашивали тело и работали по бальзамированию, наверху гудел, как самовар, аппарат, накачивал формалин. «Птичья голова» рассказывает и закусьивает: «Она (ассистентка) только утром из Крыма приехала, и сразу, пожалуйста, в работу, мы бы все в полчас кончили, да людей много кругом возитесь».

Что будет с этим большим домом? В нем мы последний раз — тут будут жить другие люди, конечно, не сразу, не сейчас, но потом выяснится, что семьи оставшейся очень мало — остальные ведь жили около Горького, для него или подкармливались им.

Живет Лажечников, что ли, худой старичок, ест быстро, костлявыми пальцами ломает хлеб, расспрашивает докторов и рассказывает сам, ходит, качает головой.

Соловей ходит задумчиво — двадцать лет назад он пришел к Горькому поговорить, переночевал и остался у него, на всю жизнь.

Сидит постаревшая, опустившаяся Мура. Она тоже была здесь и завтра, наверное, улетит, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. А пока из разных комнат вдруг выходят люди к столу, садятся, едят, говорят о постороннем, потом снова расходятся по разным комнатам, комнат здесь очень много, и никто в них не живет, хотя везде разбросаны вещи, в одной навалены воротнички, лежат брошенные пиджаки — это выбирали последнюю одежду для одевания.

Тело одевают теперь, наверх все еще не пускают, в угловой комнате передают по телефону тексты «для» надгробных венков, ходит какая-то вертлявая чернавка, пристаёт к Каминскому, о чем-то просит о своем, тот слушает ее, сидит у стола,ковыряет вилкой неохотно, отвечает сквозь зубы — ему не до нее, и все равно он не исполнит просьбы.

Люди ходят по коридорам, иные снуют деловито наверх — там идет последнее одевание, иные ходят в ожидании.

Уже подана карета с красным крестом к крыльцу, санитары принесли наверх носилки, наконец можно подняться по лестнице и ждать у столовой.

Отворяется дверь кабинета, бывшего спальни, выносят тело. Он помолодел, похудел, стал меньшим в размерах. Руки, лицо — мертвый цвет, лицо налило формалином, Тимоша поправляет руки, кто-то приглаживает волосы. Стоят вокруг стола, смотрят, Паукер мигает — пора выносить, в Москве уже готов Колонный зал — последнее прощание, подходят работавшие в доме истопники, подавальщицы, садовники, дворники, целуют мертвую руку, но нельзя сосредоточиться мыслью на нем, слишком много суетни кругом — тут вспомнишь о торжественности панихиды — один запах ладана уже отбивает посторонние мысли, поют заупокойную — и мысли о смерти, а тут, как в «Смерти Ивана Ильича», хлопоты, заботы, людские интересы, это поражает неопытного провинциала, он думал, здесь неизгладима печаль — нет, ко-

нечно, лица вытянулись, но домашние уже свыклись, они пять раз ожидали смерти за эти дни, а посторонним слишком много других забот, чтобы предаваться горю. Да и одиноко был он — не разрывается от горя сердце друга около его последней постели — велика была слава и велико одиночество.

Подняты носилки, несем вниз по лестнице, я держу носилки, голова его совсем близко, и здесь проходит страх, обуревавший прежде, когда люди целовали мертвую руку. Мертвую. А теперь мог бы поднять и поправить и погладить сам мертвую голову. Не надо бояться мертвых — вот уж подлинно золотые слова.

Носилки ставятся в карету, садятся санитары, захлопнута дверца — трогаются в темноте машины на Москву, вытягивается последний кортеж, сверкают фары машин, выезжаем на шоссе. Идет гулянье в деревне, звонкий детский голос кричит: «Максима Горького повезли!».

Фонари пугают парочки, парочки стоят, обнявшись, считают, сколько проходит мимо больших красивых машин, почему впереди карета, — и опять гуляют, поют, звенят голоса, гармошки. Потом московские огни, улицы, заворот в переулок — в Колонном зале суетня, бегают люди, носят цветы — в отдельной комнате перекладывают тело в гроб, гроб несут на постамент — новая суетня, здесь уже совсем не подумаешь о том, что Горького больше нет, и родственники стоят маленькой кучкой, растерянные, все уже очень устали, всем хочется отдохнуть, завтра с утра начинается церемониал процессий. Тело уже не принадлежит близким, оно отдано большему, тут даже и плакать стыдно...

А утром церемонии развода почетного караула, путаница с делегациями и списками, площади оцеплены на километр кругом — это путает все городское движение, жарко, народ сердится, но очередь уже тянется по всей Дмитровке, огибает по Страстному бульвару на улицу Горького — идут люди, несут детей, молоденькие лица, любопытство, почтение, очень редко старые женщины подносят платок к глазам. «Нет такого слабого человека, у которого не хватило бы силы вынести чужое горе».

Публикацию подготовили
К. Н. КИРИЛЕНКО
и В. П. КОРШУНОВА

Ценнейшую часть литературного наследия А. Н. Афиногенова (1904—1941) составляют его дневники. До сих пор полностью не опубликованные. Он вел их начиная с 1926 года. Содержание этих дневников чрезвычайно разнообразно. Нашла в них отражение и фигура А. М. Горького.

Впервые Афиногенов встретился с Горьким 23 марта 1932 года в Сорренто, где провел три недели во время своей заграничной поездки. В архиве Афиногенова сохранился дневник, где он записывал содержание бесед с Горьким, сохранились также его письма к матери, А. В. Афиногеновой, написанные из Сорренто, по которым ясно, какое сильное впечатление произвела на Афиногенова эта встреча. По возвращении в Москву на материале дневников он написал очерк «В Сорренто», опубликованный в журнале «Красная новь» (№ 9, 1932). Отрывки из дневника 1932 года неоднократно публиковались в книгах Афиногенова.

После встречи в Италии началась переписка Афиногенова с Горьким. Драматург посылал ему на отзыв свои пьесы «Ложь», «Портрет». И каждый раз получал от Горького подробные, неллицеприят-

Горький борется за жизнь отчаянно, теряет сознание, вновь возвращается в жизнь, пульс 137, увеличиваются подписи докторов под бюллетенем. Сначала бюллетень назывался «Здоровье Горького», теперь — «Болезнь Горького». Вечером распространился слух, что он уже умер. Но толпа перед шахматным турниром этого не знала, гудели голоса, когда вестник прикладывал трафарет с цифрой к доске с результатами — вестник нарочно объявлял сначала мелкие результаты, потом уже приложил Капабланке 13 очков, толпа гудит — значит, Капабланка чемпион, Ботвинник — 12 — отстал на целое очко (это как раз его проигрыш Капабланке). Не знают ничего в кафе, танцуют молодые люди, девушки в коротких жакетках со странными взглядами, все столики заняты, пробиваются знакомые фигуры — приходят поэты, художники, немножко, как на Западе, сидеть в дыму и свете, слушать джаз, пить рюмочками и смотреть на танцы...

10/VI

Будущий биограф Горького занесет ночь 8 июня в список очередных чудес горьковской биографии. В эту ночь Горький умирал. Сперанский уже ехал на вскрытие. Пульс лихорадич, старик дышал уже с переборами, нос синел. К нему приехали прощаться Сталин и члены Политбюро. Вошли к старику, к нему уже никого не пускали, и этот приход поразил его